



ЕЩЕ ВОСЕМЬ тому назад мне позвонил почтенный ученый, с которым я встречался очень редко — на новогодних вечерах в доме общих знакомых. Он производил впечатление человека сдержанного, скромного, прожившего такую же сознательно-ограниченную, сдержанную жизнь. Вместе с тем он был всегда прелестно старомоден, естественно вежлив, за столом неизменно читал сатирические стихи, написанные к случаю и попадавшие, видимо, прямо в цель, для меня иногда неясную, потому что я был все-таки далек от этого давно сложившегося круга.

И вдруг этот человек — будем называть его Р. — неожиданно позвонил мне по телефону и спросил, не хочу ли я познакомиться с многолетней перепиской между ним и... Он назвал незнакомую фамилию, которую я сразу же забыл.

В юности, занимаясь древней русской литературой, я проводил целые дни в архивах, и с тех пор чувство острого интереса к тайне неопубликованной рукописи не покидало меня. Я поблагодарил, и вскоре он привез мне три аккуратно переплетенных коричневых тома.

Неловкость прикосновения к чужой, неизвестной жизни незольно окрасила наш разговор. Это были именно прикосновения, застенчивые с его стороны и более чем осторожные — с моей.

— Она жила в Турции, на Корсике, в Париже. Мы переписывались до конца 1935 года, а потом... Здесь много о живописи, — заметил он, когда я стал перелистывать письма. — Она была художницей.

— Трудная жизнь?

— О, да. — Р. помолчал. — Вам, может быть, покажется странным, что письма переплетены. Я сделал это осенью 1941 года, когда бомбили Москву. Подобрал по датам и переплел.

Я спросил о судьбе его корреспондентки — жила ли она?

— Не знаю.

— И вы не пытались разыскать ее?

— Она сама нашла бы меня, если бы это оказалось возможным, — сказал он поспешно.

Я сидел на диване, он — в кресле поодаль. В комнате постепенно устанавливались сумерки короткого дня, и мой гость как будто ушел от меня, может быть, потому, что он как раз и был цвета этого раннего зимнего вечера со своим правильным бледным лицом и желтовато-седой шевелюрой. Я зажег лампу, все преобразилось. Но странное ощущение, что он все-таки ушел, осталось. Таков же был и наш разговор: мы говорили о письмах и в то же время как будто старались забыть о них.

— Но ведь если она жива...

— Ну и что ж! — слабо улыбнувшись, сказал он. — Она привыкла к неожиданностям с моей стороны.

Потом я прозвонил его и, вернувшись к себе, взглянул на три коричневых тома как на воплощение чужой, неведомой жизни, вдруг ворвавшейся ко мне и потребовавшей заботы и вдохновения. Но, может быть, в этих письмах нет ничего, кроме плоской обстоятельности, столь же скучной в наши дни, как и в начале века?

Я был занят тогда другой, глубоко волновавшей меня работой, и письма пролежали в моем архиве — не помню, может быть, год. Потом я купил сильную лупу и попросил мою добрую знакомую, машинистку, знающую языки (в письмах было много иностранных выражений), открыть для меня этот неведомый мир, состоявший из писем с вложенными в конверты засушенными цветками, секретом, заклеенных цветными облатками, старомодных телеграмм и торопливых, иногда в два-три слова открыток...

...Упорная, последовательная, тщательная работа продолжалась долго. В сущности, она почти не отличалась от труда текстолога, изучающего варианты внозь открытого текста. Ведь моей будущей героине — я назвал ее Лизой Тураевой — не могло и в голову прийти, что когда-нибудь не только Р. прочтет ее торопливые, неразборчивые, подчас беспечные письма.

Когда работа была окончена, на моем столе лежал свод писем с 1910 по 1935 год, писем из Перми, Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Парижа, Бонифачо (Корсика) и Стамбула. Передо мной постепенно, год за годом, стала раскрываться жизнь девочки, потом женщины, смелой, взыскательной, воспитавшейся в суровой школе искусства, внутренне свободной, всегда стремившейся к задаче, которая была выше ее сил, и, наконец, не мыслимой в другой стране, не в России.

Как же должен был я в этом случае поступить? Имел ли я право воспользоваться этими письмами — ведь самые близкие из моих друзей никогда не открывались передо мной с такой искренностью и полнотой?

Я мог бы придумать заманчивую историю о том, как попал ко мне эти письма. Более того, я начал писать ее. Склонность к странностям и неожиданностям, так долго украшавшая мою жизнь, снова пригодилась

бы мне, и читатель, может быть, поверил бы этой истории, если бы она была написана достоверно. Но впервые в жизни мне захотелось отстранить или даже забыть свою любимую склонность. Что-то ложное почудилось мне в самой попытке подтвердить подлинность этих писем событиями, созданными воображением.

Прежде всего я должен был, без сомнения, узнать, жива ли моя будущая «Лиза Тураева». Удалось найти в Москве людей, которые некогда знали ее, а через них — ее парижских знакомых. Седьмого февраля 1967 года я получил письмо от ее соседки — грустное письмо, в котором бегло (и неточно) была рассказана жизнь моей героини. Упомянулось о том, что она умерла весной 1938 или 1939 года. В этом письме были и другие драгоценные строчки: «У нас в комнате висят три ее вещи: мой портрет маслом, натюрморт — пионы и акварель — скалы на Корсике».

Я не мог написать роман о художнике, не зная его картин.

Идя по следам «Лизы Тураевой» изо дня в день, из месяца в месяц, я сам как бы невольно становился «ею». На моем столе появились книги и, в частности, о византийском искусстве, которым занималась моя героиня. Я вспомнил, что образ Византии впервые возник передо мной очень давно, в начале двадцатых годов, когда я был студентом Ленинградского университета. Фотографии ранних работ «Лизы» сохранились у Р. — она прислала ему и оригинальные рисунки, среди которых есть несколько превосходных. Я попросил его показать мне все, что у него сохранилось. Он приехал, и это была совсем другая встреча, убедившая меня в том, что я уже работаю над романом, хотя не написал еще ни одной строчки. Теперь ни я, ни, кажется, он не чувствовали неловкости вмешательства в чужую жизнь. Теперь я не только узнал свою будущую героиню, я полюбил ее. Читая ее письма, я уже не мог размышлять над ними, как прежде, с холодностью профессионала. Впервые с такой вещностью я понял знаменитую фразу Флобера: «Мадам Бовари — это я».

Разговор начался осторожно, издали. Снова была зима, но не вечер, а утро с заледеневшим после оттепели снегом на ветках распрямившихся елей. И Р. был другой. Он не позволил встретить себя на станции, пришел сам и, снимая шубу, сказал, что



В. КАВЕРИН

СТАРЫЕ ПИСЬМА

Читательница «Литературной России» Валентина Ивановна КУКОВЕНКО из села Лыково Семеновского района Горьковской области обратилась в редакцию с просьбой рассказать на страницах еженедельника историю написания Вениамином Александровичем Кавериним романа «Перед зеркалом» (журнал «Звезда», №№ 1—2 за 1971 г.).

«Мне интересно, что натолкнуло писателя на мысль написать этот роман. Были ли какие-нибудь документальные материалы, легшие в основу книги, или это только плод его творческой фантазии?» — спрашивает она.

давно не дышалось ему так легко: «Надо жить за городом, вы правы». Я усадил его на веранде среди солнечных зайчиков, вдруг начинавших бродить по стенам, когда ветер встряхивал лес.

— Не знаю, чем я заслужил ваше доверие, но подарок, который вы мне сделали, переоценить невозможно. Вы помните, я спросил вас: «А если она жива?..» Теперь я почти убежден, что она сама разрешила бы мне опубликовать эти письма. Она сказала в них отчетливо, живо, и, может быть, самое дорогое заключалось в том, что она не только любила вас. Она вас понимала.

У него был серьезный, вспоминающий взгляд, когда я приписал Р. теорию сознательного одиночества и подтвердил ее цитатами из писем.

— Нет, не одиночество, почему же? — мягко возразил он. — Скорее страх перед машинисткой. Мещанство зависимости — вот что меня тогда пугало. Молодость-то ведь была задавленная, нищая! Много унижений в том возрасте, когда складывается характер, много чтения и мало сна. Спать хотелось постоянно — опасное, кстати сказать, состояние! Вы помните чеховскую Варьку, которой так хочется спать, что она душит ребенка? Были, конечно, и теории. Кратко одну из них можно было выразить так: «Ну, подождите же, я вам еще покажу!»

— Это относилось к женщинам?

Он улыбнулся, лицо смягчилось, глаза потеплели.

— Мы познакомилась на гимназическом балу в Симбирске, и я, разумеется, не придал этой встрече никакого значения. Но она была уже и грациозная, и смелая, словом, та самая, которую вы сегодня решили защищать от меня.

Он снова улыбнулся, на этот раз грустно.

— А я в те годы как раз добрался до своей гамсун-

новской свободы. Это было в 1912 году — Гамсун был тогда моим богом. Зарабатывал я уроками очень недурно, до тридцати пяти рублей в месяц. И мечтал о свободе личности, не прописной, а подлинной.

Мы стали рассматривать рисунки моей будущей «Лизы Тураевой», которые он принес. Снова попадались сильная лупа. Даже по фотографиям ее единственной выставки в Париже был виден бесспорный, оригинальный талант.

Р. снова заговорил:

— Между тем жизнь шла между нашими редкими встречами. Сестер своих я вырастил, мать обеспечил, устроил. В двадцать восемь лет я был уже профессором. Работы мои печатались не только у нас, но и за границей. Это, кстати сказать, и помогло мне поехать в Париж. Знаменитый ученый хлопотал о моей визе. И вот Париж...

Все осталось по-прежнему — свежее зимнее утро, много света на застекленной веранде и сам Р., сидевший в кресле, как на сцене, среди солнечных зайчиков, вспыхивавших, когда ветер раскачивал сосны. Но что-то новое появилось в его ровном голосе, в бледном лице. Слово где-то в самом себе он снова остановился перед невидимой, непреодолимой преградой...

Весной 1968 года я провел две недели в Праге. Меня пригласил Союз чехословацких писателей.

Для меня Прага — город монументального, разноцветного и легкомысленного средневековья, место действия моих юношеских рассказов, в которых бесшумно, как в театре теней, действуют ландскнехты, фокусники и монахи. Я люблю Прагу: без дела я бродил по садам и паркам, обедал в уютных маленьких ресторанах под Пракским градом и подолгу сидел на берегу Влтавы.

Рукопись моего романа «Перед зеркалом», разумеется, осталась в Москве, но я продолжал думать о нем. Более того, мне казалось, что он исподволь, неслышно идет за мной по пятам, прислушиваясь к тому, о чем думалось и говорилось в Праге.

Я вспомнил, что здесь до середины двадцатых годов жила Мария Цветаева, с которой была хорошо знакома моя «Лиза Тураева»; — и в тот же день стоял на Шведской улице, пытаясь полусловесно-полуграфически нарисовать в блокноте виллу, в которой жила Цветаева и где был написан ее пражский цикл.

Как тысячи других, вилла была покрыта черепицей. Моя спутница показала мне окно комнаты Марины Ивановны, уютное неужоженным, засыхающим виноградом. В прорезе, открывшемся, когда я перешел на другую сторону маленькой площади, показалась гора, и стало ясно, что весь квартал тоже стоит на горе. «Это — Страгов», — сказала мне моя спутница, — а там, через овраг, — Вышеград.

Моя спутница занималась Цветаевой, знала круг ее знакомых, и в назначенный день мы пришли в дом «пани профессорки» — так она почтительно называла хозяйку этого единственного в своем роде дома. Две комнаты были битком набиты произведениями искусства — живописью, керамикой, бронзой, стеклом, деревянной скульптурой. Пани профессорка в течение многих лет читала лекции в Карловом университете.

Я рассказал ей историю моей будущей книги, и она заинтересовалась именно той стороной, о которой мне не хотелось говорить.

— Как, любили друг друга двадцать пять лет? — с женским любопытством спросила она. — А, понимаю! Они почти не встречались. Я не верю в эту исключительность. Может быть, вы пишете новую Манон Леско? Я засмеялась. Пани профессорка — живая, быстрая старая дама с еще красивым лицом — была умна.

Ее коллекции не мешали нам говорить о Цветаевой, может быть, потому, что во всем, что она рассказывала, был оттенок беглости. Многие отбрасывались, но как-то так, что самое главное все-таки оставалось. Так, рассказала она о «разреженном пространстве», которое самопроизвольно возникало вокруг Цветаевой и одних отталкивало, других привлекало.

Перешли к живописи — и первой была показана икона Гончаровой, подписанная — на доске, состоящей из двух половинок. Потом из каморки, которая была битком набита холстами, стоявшими вдоль стен, пани профессорка вытаскивала работу, автора которой я узнал с первого взгляда. Это был портрет женщины в черном, в высокой «кружевной» наковке, молящейся, стоя на коленях. Она была написана на фоне, в котором грозно-предостерегающе сливались цвета, и в том, как она выплывала из этого фона, было заметно усилие, отразившееся в ее задумчивом, прекрасном лице. Портрет был мастерский, передававший, кстати сказать, и то незамечание собственной красоты, которое свойственно гордым женщинам, не ставящим ее ни в грош и даже презирающим впечатление, которое они производят. На пустом уголке полотна была небрежная подпись: подлинная фамилия моей героини.

— Ну как? — спросила пани профессорка.

Я ответил, что работа первоклассная и что меня глубоко занимает судьба художницы, о которой я собираюсь написать роман.

— В самом деле? Как-то в Париже меня повез к ней маршан, и я купила у нее эту картину. Вторая называется «Малария в Порто-Веккиа». Я подарила ее.

Жизнь, о которой я рассказывала в романе, в сущности, проста. Но над ней стоит знак истории. Я не стремился перекинуть мост между людьми двадцатых и шестидесятых годов. Искусство не останавливается, даже когда оно умолкает. В знаменитом армянском музее древних рукописей Матенадаран хранятся неразгаданные, еще никем не сыгранные ноты. Мало надежды, что молодые люди нашего времени услышат в моей книге великую музыку русской живописи 20-х годов с ее мерным чередованием отчаяния и надежды. Но даже отзвуки, если они донесутся до них, заставят задуматься о многом.

Рассказанная здесь история далеко не полна. Моей главной задачей было создание характера. Четыре редакции романа — это почти пять лет работы. Я должен был постепенно переходить от наивного стиля шестнадцатилетней институтки к уверенной речи женщины, не отступившей во имя высокой идеи перед самыми острыми испытаниями жизни. Не помню, чтобы когда-либо прежде я работал с таким увлечением. Я шел на коренные перемены в истории моих героев — ведь мне надо было написать сложный «путь преображения», который прошла одна из верных учениц Дубовинского. Для меня это было счастливым пятилетием.